

# Герман. Шесть с половиной

## Я получился случайно

Мои родители не собирались меня заводить. Я получился случайно.

Известно, что Фрейд жаловался, что его всю жизнь преследует холодное чрево, в котором он существовал в зародыше. Уже к старости выяснилось: он был нежеланный ребенок. Потом его очень любили, но это — осталось. И в моей жизни тоже всегда присутствует это ледяное чрево, внезапно накатывающая жуткая тоска.

В тридцать седьмом году посадки шли страшные, мама жила в Одессе, уже беременная. И стоял вопрос, выйдти ей замуж за папу. Или остаться с прежним мужем. Чтобы меня скинуть, она все время поднимала ванну. Пока папа не позвонил и не сказал: давай его оставим, а то у нас семьи не будет. И меня оставили, уже чуть живого, я практически отделился.

...Мама была врач-бактериолог из богатой в прошлом петербургской семьи. Она дружила с Тьяньновыми, за ней ухлестывал Маяковский. Я помню ее в вечных клубах папиросного дыма: она сидела и курила, потому что готовилась к самому худшему. А папа всегда готовился только к самому лучшему. На все упреки отвечал: указчику — говно за щеку! И — фюить! — куда-нибудь в Ташкент.

Когда папа гулял, закрывался ленинградский ресторан «Кавказский», а утром официантов развозили на такси. Потом они с мамой сидели и считали, куда делись деньги. Начинили каждый раз так: купили две пары носков... На этом все кончалось — за «пару носков» ни разу не двинулись.

Отец все время где-то мотался, зарабатывал, крутил бешеные романы. Один из них, через всю их жизнь, был с Ольгой Берггольд. Не так давно ее сестра принесла мне папины записки. Берггольд их сохранила, но на всякий случай (вдруг ГБ отыщет) тут же, на обороте комментировала. Во время войны он ей пишет что-то вроде: «Может, лучше, чтоб сюда вошли англичане, это единственный способ избавиться от этих нелюдей (имея в виду советскую власть)». Она отвечает: «Юра, тебе нужно лечиться!» В 49-м он пишет: «Пора ложиться на дно и тушить фонарики!» А она: «Юра! Ты сошел с ума. В то время, как наша страна...» и так далее.

Лучше человека, чем он, я не видел. Всегда стеснялся, что у него есть деньги, и поэтому их раздавал.

Мама жутко боялась, что я останусь один перед этой страшной жизнью. Но когда пришел «майор бронетанковых войск» Светка (Кармалита. — М.Т.) и сказал: левый фланг мы поставим справа, а правый — слева, мама, естественно, опешила.

Они не то чтоб ругались, но — молчали друг на друга. Как у Шварца: вы слышите, как народ безмолвствует? Когда я Симонову (мы звали его КаэМ) пожаловался, что от них повешусь, он мне сказал: «Леша, я был женат пять раз, и мама ни разу не могла мне этого простить».

Я маму очень любил...

## Я был еще отвратительней, чем молодой Киркоров

Первая любовь стала первым жутким разочарованием. Мне было лет шесть, это было в эвакуации, в Полярном, там жили две девочки, которых я обожал. И пришел большой мальчик, Артур, дергал их за косы, а я не заступился. Мне было сказано: «Тряпка!». Я страшно рыдал в поездке.

В юности я был очень хорошенький, еще отвратительней, чем молодой Киркоров. Он просто мог бы быть моим сыном. Есть фотографии!

А в Ленинграде на Халтурина жила такая Эмма Швачкина. Однажды, уже взрослым, иду, вдруг слышу — кричит какая-то довольно красивая, уже не очень молодая женщина: «Боже! Боже! Во что ты превратился! И эта свинья испортила мне жизнь! Посмотри, Андрей (или Николай), из-за этой свиньи пропали мои лучшие годы!» И какой-то капитан первого или второго ранга ее унимает: «Эмка, что ты на всю улицу орешь, успокойся, дура!»

Потом я пошел в армию, и началось. Девушка, от которой в Выборге я подхватил триппер, на вид была абсолютная Гретхен. Я поехал домой, пришел к папе: что делать?

Он стал звонить Макагоненко (известный ленинградский филолог. — М.Т.). Тот нашел доктора Путермана. На трамвае через весь город с книжкой «Россия молодая» (в которую был вложен конверт с надписью «Спасителю нашей семьи и моего неразумного отпрыска в виде младшего лейтенанта советской армии...») я был отправлен к доктору Путерману. Лечили меня долго, уколы мне делала моя сестра, а папа написал стих: «Триппер в дом, все вверх дном!» Лет в двадцать я женился. Жену звали Верочка. Манекенщица. Милая, добрая, дико наивная.

Помню, как году в 68-м я улетал на юг, — отец уже умер, меня провожала Верочка. Я оглянулся и сказал себе: больше не хочу! При папе это еще было можно: был дом, был умный человек, было с кем говорить. Без него все рассыпалось. Абсолютное одиночество.

На юге я познакомился со Светкой.

## Бросил бы эту профессию, если б не Светка

Помню, как я ее увидел в Коктебеле, и иногда думаю: надо было мне быстро повернуться, выйти на шоссе, поймать машину, доехать до аэропорта и сесть в самолет. И ничего бы этого не было!

Я не пережил всех этих диких унижений, не имел бы из-за этого инфаркта, гипертонии и прочего, уехал бы в Америку и ничего бы не снял, если бы не она. Была б совершенно другая жизнь.

...Я вернулся в Ленинград, все сказал Верочке и уехал к Светке в Москву. Она занималась каким-то Пискактором, училась в институте ис-

тории искусств, а я только начал «Проверку на дорогах». Мы поехали в экспедицию, в Калинин, надо было снимать зиму. Только приехали — все растаяло, и начался сумасшедший дом.

Вся группа пьет, у всех бабы, к кому ни постучу, высказывает потный: «Пожалуйста, через 15 минут, Алексей Юрьич!». Я хожу один по гостинице, чего делать, не знаю. Позвонил Светке и говорю: «Слушай, кому на хрен нужен этот твой Пискактор?! Давай, бросай все и приезжай сюда!».

Светка очень любит рассказывать, как я после этого ее не встретил... Выезд на съемку был в семь утра, откуда ж я знал, что она со своими чемоданами тоже в семь придет?! И мы начали вместе работать.

На каждом фильме наступал момент, когда я говорил: Светлана, я отрываюсь! А она: «Подожди до завтра, котик, давай дождем до завтра. А завтра — до послезавтра, а послезавтра — до послепослезавтра...». А потом картина снята.

Когда мы пишем, спорим до смертоубийства. Я Светку чувствую по спине, по тому, как она сидит, скрючившись, в спине появляется протест. Некоторое время терпит-терпит, потом говорит едко: «Да, Леша, это не получилось!». И пошло, как камни покатились.



На съемочной площадке Герман — бог

Все наши экспедиции мы вспоминаем, как Хемингуэй — «Праздник, который всегда с тобой».

На «Двадцати днях без войны» меня ненавидели лютой ненавистью, потому что я всех заставлял жить в поезде. В нем мы ездил и снимали. У нас был вагон-ресторан с хозяином — одесским евреем и двумя помощниками-таджиками. Еду они нам добывали так: снимали с платформы съемочную «Чайку» и грабили соседние колхозы. И вот мы со Светкой приходим к ним обедать, а там висит огромный портрет Сталина. Я говорю:

— Снимите, пожалуйста!

— Почему это?!

Я им: я вас сейчас отцеплю! Они мне: ох, ох, ох — отцепили! В конце концов, все-таки поменяли Сталина на Гурченко (ресторанчик был в нее влюблен). Пришел утром Никулин, сел и, поедая яичницу, сказал: при Сталине кормили лучше!

И вот на одном подстанке репетиция. Вся группа осталась на платформе, а я спустился вниз, со мной верблюд и две женщины, репетируем кадр. Я чувствую, что верблюд меня не любит, вот-вот плюнет, и стараюсь держаться в сторонке. Я ж не знал, что он вбок плюет! Я только помню: вдруг у него открывается губа, и он меня окатывает чем-то зеленовато-клейким, вонючим, передать нельзя! — деревенский сортир в июле по сравнению с этим — озовая дыра — с головы до ног, литра четыре! И ликование на площадке такое — ни один Чарли Чаплин в воинской части этого бы не добился! Люди обнимались и плакали! Ощущение было парада Победы.

Светка бежала впереди и кричала: всем уйти с дороги, всем уйти с дороги! Закрывать двери в купе! А за ней шел вонючий, клейкий кусок зеленого говна. Это был я.

Потом с меня что-то сдирали, везли хлорировать, я зимой остался в майке... Но помню счастливого Гурченко, счастливого Федосова...

В другой раз вся группа отказалась со мной работать и вышла из автобуса. Мы ехали со съемок, возбуждение еще не улеглось, и я к то к одному прискрбусь, то к другому — почему это было не так, то было не так?! Наконец оператор закричал: я устал! Я 12 часов работал, а ты мне передаешь мозги! Пошел к черту, остановите автобус, я пешком пойду! Вскочил художник и говорит: ты меня достал! И вышел. И вся группа встала и вышла. Я остался в автобусе один. Светки не было — она уехала в Москву. И я сказал водителю: трогай! Доберутся как-нибудь. И уехал.

А они остались. В сорока километрах от жили в экзотических костюмах после съемки. На их счастье сиди ехала наша пожарная машина, они вернулись на ней, внавалку, зацепившись зубами за баггер.

А утром приехала Светка, побегала по номерам всех мирить: «Вы котика тоже обхамили...», и все сгладилося. На съемках я вообще стараюсь, чтобы она работала со мной, от этого толк и мне, и картине, но она больше всего любит руководить движениями народных масс или принять участие в том, от кого монтажерка беременна (хоть ее, Светкин, муж с этим никак не связан)...

...Я ей часто говорю: как можно так радоваться всему, когда все равно знаешь, что умрешь?!

А она: пока же ты не умираешь?

— Нет.

— Ну, так и радуйся, что не умираешь!

— Я не могу радоваться, что не умираю, когда я знаю, что умру все равно. И никто меня не выручит.

А она:

— Но ты ж еще жив, котик!

## Я занимаюсь не своим делом

...«Проверка на дорогах» лежала пятнадцать лет, «Двадцать дней» благодаря Симонову — около двух. А «Лапшин» — четыре с половиной. Выпустил его Андропов. Как настоящий чекист, он разрешил семь копий. Полагалось полторы-



На съемочной площадке Герман — бог

две тысячи на страну. И при этом еще тридцать копий заказал себе КГБ.

Узнав про это, я позвонил Юрию Ивановичу Попову, он у нас в Ленинграде боролся с интеллигенцией, но некогда дружил с моим папой: зачем им так много копий? Он говорит:

— Ну а вы сами-то как думаете?

— Думаю, чтоб пытать заключенных. Картина скучная, вы крутите ее всю ночь, утром они во всем признаются.

Он бросил трубку.

«Мой друг Иван Лапшин» — простая картина. Там описаны люди, которые прошли через нашу семью: Стенич, Эрлих и другие. С Бодуновым, который был прототипом Лапшина, я был хорошо знаком.

Но я снимал про них кино, находясь в положении Господа Бога: я знал их судьбу. Знал, что из их мечтаний, желаний, страстей ничего не выйдет. Я знал, что все они погибнут. Что Валентин Стенич (Ханин, которого играет Миронов) погибнет страшно, ползая по камере с перебитыми ногами. И произойдет это очень скоро.

В картине «Хрусталева, машину!» есть старуха, которая говорит: «Я столько помню, я столько знаю — как жаль, что это уйдет вместе со мной...». Это мое ощущение. И всегда представляешь себя, свое детство. Вплоть до запахов, которые на экране не передашь: запаха перегретых батарей например. Режиссер существует не только для того, чтобы усилить всех остальных в съемочной группе не пропали даром, но и для того, чтобы с тобой в зале что-то произошло, чтобы из смутных потемок своей души вытащить на свет Божий (один делает это с легкостью, другой, отхаркиваясь кровью, третий, трясаясь от ужаса) нечто, что и станет фильмом, иррациональной целлулоидной музыкой.

...Существует такая притча. Один человек ушел из дому, остановился на ночлег и, чтобы не заблудиться, воткнул в землю палку. Кто-то пошутит и палку переставил. И вот он вернулся в деревню — к дому, похожему на его дом, навстречу вышла женщина, похожая на его жену, и дети, похожие на его детей. И так получилось, что он остался с ними жить, но его всегда страшно тянуло домой.

У меня было и есть ощущение, что я занимаюсь не своим делом, занимаю не свое место, но, поскольку так вышло и жизнь кончается, я должен продолжать.

## Предпочитаю жить в страхе около залива

Из всех неосуществленных замыслов больше всего мне жаль «После бала» Толстого. «После бала» — это образ России. Вроде бы замечательные, прекрасные люди, а солдата прогоняют сквозь строй, и он кричит в смертных корчах:

помилосердствуйте, братцы! Жуткая, вечная жестокость к своему народу.

Мы — несчастная, несчастная страна. Гордиться нам нечем.

Пока мы снимали «Хрусталева», мы поняли, что и большевики, и КГБ — не какой-то над нами возведенный организм, а мы сами. «Дракон» Шварца кончается тем, что три головы чудовища, подыхая, говорят Ланселоту: «Я оставляю тебе в наследство дырявые души, прожженные души, мертвые души, а впрочем, прощай!». Так и вышло.

В партию я никогда не лез. Но однажды, до выхода «Проверки», меня позвали и предложили вступить. Сидел такой Александр Гаврилыч Иванов, режиссер, народный артист и какие-то две шестерки. Разговариваем, я верчусь, как уж на сковородке. А время от времени открывается дверь, всовывается голова, и Гриша Аронов, режиссер, который решил, что меня вызвали, чтобы я ставил сценарий «Приключения капитана Врунгеля», который никто не соглашался ставить, говорит:

— Лешка, не поддавайся! Лешка, ни за что не поддавайся. Лешка, держись как можешь! Если ты согласишься, ты пропал!

И вот Гаврилыч огромный такой русский богатырь, этакий жидобой, произносит: «Интерес-



На съемочной площадке Герман — бог

но, почему это Григорию Лазаревичу Аронову так не хочется, чтобы ты, Алексей, был коммунистом?». Тяжело встает и выходит в коридор. Потом возвращается и мне говорит: ладно, не хочешь — не надо.

Выхожу, а на батарее висит полутруп Аронова. И шепчет: «Он на меня как зорет: «Почему вы не пускаете молодой талант в коммунисты?!». Леш, скажи ему! У меня Лена и Леня, двое детей. Иди, б... в любую партию!». Заставил меня пойти к Иванову, объяснить, что не то имел в виду...

Когда умер Сталин, я пришел к отцу в кабинет, чтобы сказать об этом. Впервые в жизни я увидел его абсолютно голым. Он бегал по кабинету и кричал: «Сдох! Сдох! Сдох! Хуже не будет!».

Многим и сегодня очень бы хотелось, чтобы Сталин был с нами. Не знаю, какую позицию занимает Путин, но при всем к нему уважении я подрагиваю. И в страхе предпочитаю жить около залива...

## «Трудно быть Богом» делать трудно

У меня странное ощущение: мой зритель уехал. Или вымер. Когда я оборачиваюсь, вижу только людей, которым нужен Шварценеггер.

За десять лет мы не приучили народ к свободе — он по-прежнему труслив и боится начальства. Мы не приучили его к пониманию демократии. Свобода принесла с собой неподвижный заряд безвкусы. Даже Чубайсу, блестящему человеку, я не мог объяснить, что реклама «Жиллетт» — лучше для мужчины нет страшная пошлость. Он говорил: «Жиллетт» — хорошее лезвие...

«Трудно быть Богом» оказалось делать действительно очень трудно. Картина все время меняется, она — живой организм. Абсолютно как Солярия она принимает форму меняющегося общества. А оно трансформируется просто на глазах: небывало пышно отпраздновали годовщину Сталина, убили Юшенкова, странно умер Шекокихин. Это что все — просто так?

У меня два страха: один — сделать плохой фильм и другой — все остальные. Но страх сделать плохой фильм сильнее. Я хочу успеть доделать эту картину, я готов к съемкам, но не готов к обедкам. А исполнитель главной роли стал сейчас сниматься у другого режиссера. Мне шестидесять пять лет, у меня большое сердце, этой зимой я чуть не помер, но я хочу, чтобы после меня остались пленки, по которым будет ясно, как я жил.